

КОЛЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ЗУЕВО

Коля из деревни Зуево это настоящий богатырь. Плотный – кровь с молоком, и кулачищи – во! Плечи широченные, а душа ещё шире. Коля добрый, как медведь из детской сказки: чеши его против шерсти, тяни его за уши, хоть запряги его – всё стерпит медведь. Но зато, если унюхает кому несправедливость, или ещё хуже – кощунство, тут уж лучше сразу улепётывай.

Вот, когда ещё Коля ходил в парнях, деревенские повадились на дискотеку в район. На чужом пиру, известно, пришлым иногда не везёт – прилетает. Ребятки и брали с собой Колю «на счастье». Он войдёт с ними, станет в уголке, топчется. Местные видят с кем Коля и деревенских не задирают. А Коля ждёт, пока парни надрыгаются с девками под «Руки вверх», охраняет. Потом вместе возвращаются шумной криковатой компанией.

Вот идут они как-то раз подогретые, весёлые. Перед их деревней на дороге ржавый знак «Зуево». Обладая остроумием никак этот знак не миновать. Остряк в компании есть – это Эдик. И как он раньше-то всегда мимо проходил?! А тут... «Зуево»... Замазал Эдик первую букву грязью, и пальцем по грязи вывел изящный икс. Ржали все, дружно. И Коля тоже сначала ржал. А когда сообразил, что это над его родной деревней совершилась такая несправедливость, кощунство... Ох... Эдик не успел испугаться, не вякнул, летел с насыпи в канаву – кусты трещали. Пацаны на Колю вылупились, мол, ты чего? А он в землю устался, мол, – ничего: «А чего он!..» Эдика из канавы достали, и Коля сам же помогал ему выдирать репы из кудрей, и грязь снимать со знака.

Время идёт, Коля взрослеет. Отслужил срочную, вернулся к отцу с матерью. Тут колхоз развалился... Стал Коля наниматься общественным пастухом и привык к этой должности, как будто для неё родился. А чего ему: на лошадёнку всем миром скинулись, он и рад.

Собирает Коля на зорьке коров со всех улиц на своей клячонке – кажется вот-вот надорвётся под ним бедная лошадь, сдохнет. Пригонит стадо на луг, кляча отдышаться не может, язык высунула, а он дремлет в теньке под вязом. Чем не жизнь! Лежит Коля радуется, кулак под голову, гоняет в зубах травинку. Всё лето – праздник! Всю зиму отпуск.

Годы потихоньку идут...

Пора бы Коле жениться, а он стеснительный. Да и нет в Зуево, нормальных невест. Нормальные разъехались.

Но зато пришёл час, дождалась Зуевская заброшенная церквушка себе настоятеля. Прислали батюшку старенького, лысого, совсем постного. Однако весьма бодрого. Батюшка сразу деревню обошёл, со всеми перезнакомился. Коля ему очень понравился. И как так получилось, что Коля к батюшке тоже сразу привязался. Душа запросила, что ли? Сроду ведь он до своих тридцати трёх попов не видал. А батюшка и рад – помощник ему, кадило подавать. И стал Коля алтарником. Пошили Коле стихарь-дирижабль...

Вот, идут они на малый вход: бабульки чуть слышно попискивают с клироса, алтарник со свечой боком еле-еле просовывается во вратницу – вот, гляди, дверной проём лопнет, разойдётся – ступает, половицы под ним гнутся, а следом маленькой бесплотной тенью отец-настоятель. И голосок его такой:

– Прему-удрость, про-ости! – искушение, прости Господи! Ну как тут молиться?

Вскоре затеял батюшка в храме ремонт, и началась у Коли хлопотливая пора. Успеваает и со стадом, и в церкви. Что-то грузит, что-то месит, что-то пилит всё лето. А ближе к осени послал где-то Бог настоятелю средства, и тот заказал комплект колоколов.

Вот привозит машина заказ, манипулятором всё сгружает. Собрались возле церкви люди, глядят: пять колокольчиков, так и сияют, новые. Главный, наверное, под центнер, остальные поменьше. Солнце на них поигрывает. Зуевские о таком и не мечтали, радуются. Батюшка к народу повернулся: надо, мол, кран нанимать, поднимать их на колокольню. А тут Коля: зачем кран, я сам подниму и сам повешу. Никто не удивился. Немного,

конечно, посомневались для порядка, но на том и порешили. Назначили дату, пригласили благочинного, фотографа из районки, начальство...

В назначенный день собралось всё село, все три сотни. Благочинный в шёлковой рясе, сельсоветский глава на УАЗике, участковый. Коля – при своей вечной телогрейке. Отслужили молебен, погундели речи и началось. Четверо мужиков подняли большой колокол, Коля под него головой подлез, принял на плечи. Благочинный раскрыл рот:

– Вот это ж бывает такой медведь!

Фотограф забегал вокруг, щёлкает.

Коля качнулся и двинулся к трапу – колоколенка невысокая, трап положили от пожарной машины, длинный, не шибко крутой. Мужики засуетились вокруг медведя, под ногами путаются, как будто помогают. Вот Коля шагнул на трап, тут помощники отстали, пошло легче. Трап прогнулся, заскрипел. Народ примолк, батюшка крестится. Коля шагнёт – приставит ногу, ещё шагнёт – постоит. Видно, и такому богатырю тоже не всё просто. А на полпути, сам потом говорил, даже испугался. Духу, говорит, вовсе не осталось, назад нельзя, вперёд не могу. Не бросать же. Стал про себя молиться и как-то, сам не заметил, добрался до верха. Тут сразу и мужики за ним по трапу бросились колокол принимать, крепить. Следом и фотограф. Коля на цыпочки привстал, поднял колокол к хомутам, мужики сунулись было вставлять клинья – глядь, а клиньев-то и нет. Заорали вниз в народ, чтоб там на земле поискали. Слава Богу, быстро нашли их, возле молебного столика валялись. А Коля всё держит. Клинья принесли, опять Коля на носки приподымается, мужики давай клиньями в ушки целить, а тут фотограф: «Дай-ка с этого боку щёлкну. Да погоди, вот теперь отсюда зайду». Коля на него даже заругался. Потом спохватился, что Божье дело совершает, и позволил щёлкать этому ироду, сколько влезет. Ну, с Божьей помощью всё прошло хорошо. Колю потом долго в народе хвалили. После и газета пришла, фотографию разглядывали: впереди благочинный – шёлк переливается, с ним – глава, сбоку участковый цветёт, где-то вдалеке батюшкина бородка отсвечивает. А позади всех, почти не видно – мужик с колоколом вместо башки...

С новой звонницей Зуево будто ожило. Вроде всё по-прежнему: ни работы, ни дорог, ни фельдшера, ни газа, а только слышишь, как утром колоколенка поёт и на душе праздник – самое что ни есть Светлое Воскресение. Местные ребяташки намастырились хорошо звонить. Батюшка сам с ними лазил, обучал...

Как-то на зорьке Коля гнал своё стадо, посвистывал. Вдалеке, в пойме – видно – туман. И зябко пастуху туда глядеть и радостно. Давит свою клячонку, улыбается. Стало стадо дорогу переваливать и немного замешкалось – взросло что-то вкусное по неезженным обочинам. Коровки пасутся, Коля на кляче, как Санчо Панса на ишаке, сидит. И сроду в это время никого по дороге не носило, а тут сразу целый Лексус. Розовый и номера столичные, гудит:

– Эй, деревня, коров убери!

Коля стал просить, чтоб не гудели, коровы пугаются. А те светом моргают и ещё шибче. Коля извиняться, мол, мы сейчас, мы скоро. Ну, замешкались чуток, это же животина, глупая. А те опять на Колю, мол, это ты животина: козёл ты, и коровы твои – козлы. Коля давай их упрашивать, мол, если уж совсем спешите, так на вашем джипе можно ведь и сторонкой вот тут вот запросто объехать. А Лексус ни в какую, дай ему дорогу и всё. Тут, как на грех, в деревне колоколенка запела. Коля картуз долой, как был на лошади, так и давай креститься на деревню. А эти в машине увидали и совсем разозлились:

– Козёл, – говорят, – ты. Но не простой козёл, а православный! И церковь твоя...

Ну... Зря они так. Ох... Коля покосился на них, перекрестился последний разок, картуз натянул. Поравнялся с розовой машиной, к самому окошку подъехал, откуда лаялись. Немного на лошади склонился, будто хотел в окошко заглянуть...

Хорошо, что водитель отстранился. Медвежий кулачище летел полукругом, снизу. Если б челюсть поддел или ухо зацепил, то грех был бы великий. А так изнутри шарахнул в крышу, как раз над водителевой тубетейкой, и ладно. Тогда уж джип гудеть перестал и объехать согласился, как Коля и просил в самом начале. И всё благополучно, миром и добром.

Наверное, до сих пор торкается где-нибудь в столичных пробках красивый розовый джип с огромной шишкой на темечке...

Лето – самая пастушья страда. Это только со стороны так, будто ему – пастуху – не бей лежачего. А кто пробовал сам, тот знает, каково оно: ты их для начала попробуй собери в кучу, попробуй перегони куда-нибудь, если, конечно, получится собрать. Тогда уж и рассуждай. А если пастух со слабинкой, они это чуют. Шалят, как всё равно сговорились. Лезут, глупые, во все стороны. А Колю коровки слушаются, как своего. Он толь-

ко подумает, поднимется им сказать, а они уже угадали и идут, куда полагается. И народ доволен, что не надо больше всем по очереди пасти.

В церкви совсем сделалось уютно. Всё оштукатурено, побелено, печку к зиме переложили, дров запасли.

Но вот, совсем гладко-то всё не бывает...

Как-то смотрел Колин отец перед сном новости. Коля мимо проходил и тоже уставился в ящик. А там... Ох... Увидел Коля, где-то батюшку обижают. Одного обижают, а другого убивают. Задышал Коля как-то не хорошо, глядит. Отец на Колю косится, уже что-то чувствует. А в телевизоре теперь школу бомбят. Коля не моргнёт, уставился, а там стали церковь обстреливать. Ох... Зря они так. Поиграл Коля желваками, пошёл к соседу, постучал. Сказал ему, чтоб он стадо принимал, отвёл ему свою клячу. Вернулся в хату, собрал рюкзачок, сунул в штаны паспорт с военником. Мать забеспокоилась, мол, ты куда? Коля на телевизор кивнул: «Туда». И на заре уехал.

Плохо стало без Коли, пусто. Коровы с утра мычали, ни в какую не слушались нового пастуха. Тот даже матерился.

Да и не одним только коровкам худо: как-то батюшка сам уголь в кадило сыпал, неуклюже сыпал, отвык, подрясник прожёл. Всё что-то из рук валится.

А ещё потом было, один зуевский мужик поехал как-то в район картошки продать, вернулся без картошки и без денег, и в глаз получил. Говорил: «Был бы здесь Коля, шиш бы они мне».

И так-то всё кругом провисло, ослабло...

Но зато потом Колю увидели! Увидели в новостях. Со спины, правда. Подхватил медведь одной ручищей раненого, бежит, свободной лапой пятерых зелёных раскидал. Пули свистят – его не берут! Мины воют, земля дыбится, страшно. Увидел на бегу – ещё один свой скovyрнулся, и того подобрал. Живёт силушка, других из-под смерти уносит!

Ну? И кто же это ещё, как не Коля?

Батюшка среди недели затеял по этому случаю обедню о здравии, Колю поминать. Колокольня разливалась! Обрадовались все, что Коля нашёлся, только об этом потом и разговаривали.

Больше всех, конечно, этой новости радовался пастух: совсем ведь пастуха ни одна скотина не слушает, измучился. Говорил: «Раз Коля там объявился, значит всё у них теперь наладится. Будем ждать».

И то правда, скорее бы уже наладилось, скорее бы уже возвращался Коля – скорее бы Зуевским коровкам облегчение...

СЛОН ЗАБРАЛСЯ В ОГОРОД

Когда Володя Капустин овдовел, ему показалось, что жизнь окончена: сорок семь лет, дети разъехались, с работы сократили, ибо в век инноваций зоотехники никому не нужны – одно к одному. Но хозяйственные хлопоты, как известно, врачуют всё. Было дело, раньше хлопоты врачевали покойную супругу, теперь же они принялись за его – Володино – исцеление. Он и сам не заметил, как «рана на душе» зарубцевалась, а слёзы высохли: в хлеву у Капустина мычит, в курятнике кудахчет, в закуте хрюкает – всё требует рук. И в огороде тоже – не горюй, успевай-поворачивайся.

На полустанке, где сидят с домашним товаром сельские торговки, Володя занял место своей покойницы. Когда из электрички вытекал на платформу охочий до «экологии» дачный народ, Капустин громче соседок провозглашал своё: «Молоко, молоко домашнее! Картошечка, тёпленькая картошечка! Маслице!» Со своей тележкой вдовец проворно суетился, и нерасторопные старухи, оказавшиеся вдруг при таком соседстве в финансовой яме, сильно его невзлюбили. Ходили слухи, что бабка Галя, которая торгует прогорклыми семечками, посетила как-то местную шепталку, чтобы та извела конкурента проклятого. Но знахарка, видать, накануне не выспалась и вместо того, чтобы околеть, Капустин смастерил себе тележку больше прежней и расширил ассортимент.

Дом энергичного вдовца приятели теперь обходили. Вечерами одинокий уставший Володя усаживался в кресло, гладил пухлого рыжего кота и смотрел дремотными очами программу «Время». Однажды сосед привстал на цыпочки, с надеждой заглянул в капустинское окно и скис: «Даже и не выпьет! Чё просто так сидеть-то? Сбрэндил», – и философски заключил: – «Всё. Нет былого огня в Вовиной крови».

Но огонь в Вовиной крови бушевал! Правда, бушевал, в основном, по ночам, поскольку днём не до огней. После крестьянского дня Владимир зевал, выключал телевизор и вырубался. И снилась ему одинокая дачница Елена Сергеевна, которая проживала в доме с запущенным садом на краю села. Снились её длинные волнистые волосы, её не по возрасту

хрупкий стан, её свободное длинное платье и не только. В полном пруду плавала луна, седина лезла в Володину бороду, зудело ребро. Сны витали над его изголовьем, как в далёкой допризывной юности.

Однажды на улице дачница подмигнула Капустину, Капустин пришёл домой и произнёс: «Женюсь». Кот, дремавший в кресле, приподнял рыжую голову и услышал от хозяина следующее: «Пойми, урюк, человеку одному на земле противопоказано. По хозяйству одному уже никак. И дети... Дочке отправить надо? Надо. Двум пэтэушникам в общагу надо? Надо. И пирогов домашних хочется. Да и вообще. Сегодня и посватаюсь». Кот зевнул, помотал головой. В его зелёных глазах читалось: «Давай, приводи ещё рот на нашу сметану. Самим мало».

– Приведу, – пообещал Володя.

Актёр Тихонов в известном фильме как-то сообщал, что от людей на деревне не спрятаться, и был прав. Среди торговков на полустанке про Елену Сергеевну поговаривали, что будто бы на заре она купается нагишом, мяса не потребляет, а вечерами из её окон гундит странная песня, в которой поминаются такие предметы: харя, крыша, снова харя и почему-то рама. Какая такая эта рама, торговки не знали. А ещё у неё временами гостюют лысые друзья. Капустин смекал, в чём дело: сам когда-то живя в общаге сельхозинститута, дружил с бритым наголо лоботрясом Костей. Костя плясал на левой ноге, звенел колокольчиками для донки и горланил «Харе Кришна». За прогулы Костю отчислили, а Капустин и без Кости потом ещё долго слушал Гребенщикова и временами Рериха полистывал. И хотя по всему выходило, что Елена Сергеевна «из этих», но ещё одна пара рук в хозяйстве не была лишней, а ночью и вовсе нет разницы из тех она, из этих, или ещё из каких.

Вечером Капустин побрился-собрался, начистил туфли. Долго думал, что взять в качестве гостинца. Сало и окорока, по понятным причинам отпадают, вина-коньяки – тоже. Остаются цветы, вон их сколько в палисаднике, но с ними за двор – никак, старухи заклюют. Капустин решил задачу так: взял сметаны, банку мёда, головку домашнего сыра и, оглядываясь, огородами двинул на край села, где в запущенном осеннем саду стоял домик яркой цветастой дачницы.

К подворью дачницы вела заросшая бурьяном тропа. Володя обстрекался крапивой и нацеплял на штаны репьев. У калитки отряхнулся, оправился. Во дворе некошенный бурьян стоял лесом. «Мужика нет, – убедился Капустин, – а то б скосил». Он

толкнулся в калитку, калитка упала. «Починим», – решил Володя и воззвал:

– Хозяйка! Гостей принимай!

Дверь тягуче заскрипела, будто это и не дверь вовсе, а сам дом норовит стать к лесу задом, а к гостю передом. На крыльце показалась хозяйка, одетая, будто давняя студенческая подруга недоучки Кости, что скакала тогда под его рыбацкий колокольчик. Хозяйка поклонилась, её седеющие волосы вблизи не показались Владимиру такими уж привлекательными. Гнилые ступеньки крыльца зловеще скрипели, когда гость поднимался, а одна и вовсе провалилась. Мужика дому не хватало давно.

В комнате назойливым комаром монотонно звенит и постукивает незримый гаджет. В скрипе-постукивании слышна нудная песня про ту самую «харю», о какой судачили на полустанке. С потолка свисают пыльные бумажные гирлянды, с картины плянется страшное синюшное существо. Другая картина а-ля Рерих изображает горы. После срочной службы на Кавказе Капустин горы ненавидел. Он считал, что равнина, особенно русская, это самое живописное явление. Что может быть живописнее майского заливного луга? Или реки? Или луга у реки? В юности Вова искренне недоумевал, почему Рериху всегда требовалось рисовать именно горы, и подозревал у художника расстройство ума.

Владимир подмигнул хозяйке, выложил на стол свои домашние гостинцы и тут же у его ног засуетились две тощие кошки. «Кошки-то совсем чабошные, – отметил Володя, – ничего, откормим». Оглядел хозяйку: – «И её откормим». Сладко-горький дымок струится под закопченным потолком, тускло мерцают свечи, комариным роем звенит нудная песня. Хозяйка жестом Зиты (или Гиты) указала гостю на старомодное кресло, гость сел.

– Знаю, что привело тебя в мой дом, – пропела хозяйка голосом, похожим на голос артистки Касаткиной, что озвучивала чёрную, как гудрон наставницу индуса Маугли. – Ты ищешь свет, ты ищешь истину.

– Видите ли, Елена Сер...

– Молчи, – перебила Елена Сергеевна и приложила палец к губам, – тиш-ше. Тебя привёл он, – она указала на стену, где синее существо с дудкой, – Сейчас мы будем пить чай, и ты попробуешь торт. Ты любишь торт? Молчи. Ты ещё не знаешь, какой изумительный торт мне привезли.

«Эге!» – подумал Капустин, – «Эта тебе – не вахлячок Костя из общаги. Эта сразу – за рога да в стойло!» А хозяйка продолжила:

– После чаепития тебя коснётся он, – и указала на синерожее существо.

Володю передёрнуло, он не хотел, чтобы его касалась эта потусторонняя личность.

Хозяйка удалилась. Спустя минуту она внесла залапанные чашки и крохотный тортик. Володя решил, что после чая он и расскажет хозяйке, что пришёл не за какой-то там истиной, а за ней, за Еленой Сергеевной, расскажет, как они с ней заживут. Ведь у него и корова, и прочее, и дом – полная чаша. Всё есть, а хозяйки нет, и принялся жевать торт отдающий резиной. Первый кусок никак не хотел проглатываться. С трудом Владимир одолел его и тот – шлёп! – упал в утробу. А следующий кусок шлёпнулся почему-то в голову. В черепе пошёл эхом гулать звон. Потом горы на картине задрожали, и комната завертелась в трёх направлениях. «Э, да она же ведьма!» – подумал Капустин, и его замутило. Захотелось переловить невидимых нудных комаров, захотелось, чтоб заткнулись голодные кошки. Синий портрет с дудкой зловеще выпучил свои добрейшие глаза, раздул ноздри. Хозяйка что-то шептала, прикасалась ко вдовцу одинокими горячими руками, которых было ровно пять. И сквозь огоньки, скрипы, жесты, дудки, сквозь горы и шёпот далёким ветром доносило до слуха Капустина хрюканье голодного Капустинского борова и мычание не доенной Капустинской коровы – самой обыкновенной коровы, не священной, а потому глупой и вряд ли одобряющей священную кулинарную наркоманию. За окнами порозовело вечернее небо. Володя собрал остатки воли, поднялся, прицелился в двоящуюся дверь и выскочил на воздух. Раздосадованное синее существо выдохнуло в свою дудку, гора на репродукции уронила камень. Елена Сергеевна ничего не заметила – она пребывала уже не здесь, она спускалась к Великой реке, созерцала круги на воде, оставляла следы на песке и ощущала синее просветление. Мир не трогал её обрахмапутренного слуха.

Утром у Владимира Капустина трещала голова и ломило суставы. Что поделаешь... Сердобольная вдовая соседка Валя кружилась по Капустинскому хозяйству. Управилась с Капустинской Зорькой и теперь хлопотала на кухне, гремела посудой. В доме пахло мятой и чабрецом. Поцокивали ходики, потягивался и зевал рыжий кот. Володя лежал с мокрым полотенцем на голове, которое гасило вчерашнее эхо, без интереса щёлкал пультом, переключал каналы. Крышу мыл сентябрьский дождь,

и радости на свете не было. Володя листал каналы, с отвращением вспоминал вчерашнее и думал о своей нынешней помощнице-соседке. Сколько раз она выручала. И с поминками... тогда... когда это... Сам много ли успел бы? И когда к детям в город отлучиться, она за его скотиной приглядит. И вот сейчас. А оно ей надо?.. Пусть она и не яркая, как та, пусть не умеет наряжаться. Ну и что? Сам тоже ведь давно уже не тово-этово. А она и пироги умеет, и возится тут с ним, хворым...

Володя снова щёлкнул пультом и влип в экран, и даже при-встал на постели: показывали Индию! Леся и Бедняков рассказывали о просветлённых индусах. В телевизоре трясли перед камерой своей голой непосредственностью голодные рахитные ребятишки, в грязной лохани грязная женщина полоскала грязное бельё. Мухи облепили нечто прямо посреди тротуара. Потом показывали столичный вокзал. Там граждане бомжеватого вида штурмовали побитую электричку и топтали друг друга босыми ногами. Капустин позвал соседку и ткнул в экран – гляди! На городском бульваре что-то подбирал из-под грязных прохожих ног и совал в свой беззубый рот косматый старик. Поодаль макаки вычёсывали блох и переругивались на своём макакачем наречии. А над всем этим житьём-бытьём, с фасада единственного приличного здания английской постройки, застенчивый синий Кришна благословлял дудкой, одобрял своих верных просветлённых подданных.

– Гляди ты, – вздохнула соседка, – а посмотришь ихние фильмы, так сплошной праздник с танцами. А у самих вон, вон, гляди – слон забрался в огород!

– Это не огород, – сказал Капустин, – нет у них огорода, просветлённые они. Это он так просто шастает, улицу удобряет.

– Ох, смотри до чего народ-то чабошный, то-оций! Да в их климате можно было б три раза в год картошку копать! А они...

Рядом с людьми паялился в телевизор рыжий кот. Может быть, ему нравился слон, может, мартышки. Никто в мире не знает, что творится в маленькой кошачьей голове при виде слона и мартышек...

Включилась реклама.

Володя сорвал с головы повязку: «Просветлённые, туды их!»

...А потом в телевизоре сказали, что в следующей серии Леся и Бедняков отправятся теперь к другим просветлённым гражданам, в соседнее королевство Непал, прямо в его столицу, в Катманду. Это слово Капустина согрело:

– Точно! В Катманду! Туда вам и дорога, – имея в виду свою вчерашнюю неудавшуюся невесту и всех её коллег по просветлению и кулинарии, сказал Володя Капустин. И повторил: – В Катманду.

По-прежнему шумел по крыше дождь, сидела рядом потрясённая слонами соседка Валя. Где-то у дальнего пруда мок под дождём пастух, и жевали печальную осеннюю траву Вовина и Валина коровы.

Головная боль помаленьку отпускала.

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

На выезде из села, у моста через тихую речушку, открылась забегаловка «Надежда». Место здесь оживлённое, хорошее – мимо единственного моста никому не пройти. Окна вечерами заманчиво светятся, приглашают, и железные двери на пружинах то и дело лязгают обеими створками, словно челюсти фантастического насекомого: зазевался – хватить! – поглотило кого-то насекомое и переваривает.

В ночь с шестого на седьмое января, в самое Рождество, в пустом родительском доме тосковал одинокий отставной майор военно-воздушных сил Филиппыч. Выйдя на пенсию, он решил, наконец, вернуться на свою родину и поселиться в отчем доме, где печь. Родители умерли, детей нет, брат остался дослуживать в Таджикистане. А жена кого-то себе завела и сбежала, как только поняла, что её муж-пенсионер, кроме как гонять на штурмовиках, ничего не умеет в жизни делать.

Филиппыч с дороги бродил по селу, тешась воспоминаниями былой счастливой юности, которые живут здесь в каждом закоулке, в каждом овраге. Селяне подозрительно косились на незнакомого человека с чемоданом, на его бушлат цвета пасмурного неба. Филиппыч не встретил ни одного знакомого лица. Село изменилось. Дома окривели, стали ниже, люди старше. Даже церковь, где они мальцами курили, прячась от одноногого школьного директора, изменилась: там, где прежде на кирпичных сводах зеленели заросли клёна, теперь оцинкованная крыша. Вокруг храма – забор. Филиппыч хотел было зайти внутрь, посмотреть, целы ли фрески, которые он так любил разглядывать в детстве, но постеснялся. А любопытно было бы. Там, на западной стене, тогда ещё просматривались страшные серые черти – «ефиопы»,

как называла их покойная мать. Они мучили грешников. Кого заставляли лизать красную, раскалённую сковородку греховным языком, кого варили в большом казане. А некоторых, особенных, испытывали нестерпимым холодом. Те, помнится, будто бы в самом деле коченели, дрожали и поджимали тощие ноги, словно воробьи, от бесплодного желания согреться. Эту часть ада старушки называли «тартар». Жуть, как там холодно.

Майор добрёл до своего дома, забрал у соседки ключи, протопил печь и немного вздремнул. Когда проснулся, врубил телевизор в надежде развлечься, а там, как назло, ничего интересного – Патриаршая служба. Попы спуют взад-вперед, поют что-то. Тоска...

Лётчик выключил телевизор, посмотрел на часы – без пяти двенадцать. Высунулся с крыльца – мороз! Узкий-узкий умытый месяц сидит на соседской антенне. Церковь всю трезвонит. Зима тихо едет над кроткими хатами. По окрестным полям рассыпались бриллианты, переливаются. Тихий праздник на всей планете и звёзды, звёзды... Сплошные звёзды!

Филиппыч снял с печки свои армейские ботинки, надел бушлат и в раздумье, чем бы заняться, вышел на улицу.

– Куда бы податься? Друзей – никого. На дворе Рождество, нужно бы отметить, а где? Не в церкви же, в самом деле.

Тут Филиппыч вспомнил о новом кабаке, который увидел днём у моста, когда гулял. В кармане у молодого пенсионера пока еще шуршало...

Когда за спиной майора лязгнули железные челюсти «Надежды», ему почудилось веселье: пошлый свет озарял столики, за которыми не было свободных мест. Воздуха, кажется, тоже не было – в плотный сизый дым вросла облезлая ёлка. Он разглядел в дыму стойку и уселся. Рыжий труженик бара долго пристально всматривался в лицо Филиппыча. Наконец выдавил:

– Воробей? Ты, что ли?

Ух!.. Запахло почти забытым, ведь это его – Филиппыча – дразнили в детстве «воробьем».

– Рыжий?.. Рыжий!!!

– Воробей! – и давние приятели кинулись обниматься.

– Мужики! – заорал Рыжий, – Мужики! Воробей приехал!

Из-за ближнего хромого столика выскочили три небритых мужика, упакованных в рваные фуфайки.

– Воробей!

– Гусь! Славка! Бабуин! – Филиппыч узнал своих одноклассников, – с Рождеством вас, пацаны!

– С Рождеством! С приездом! Четверть века не видались!

За липким столиком для Филиппыча нашлось лучшее место. Он зашуршал в бумажнике. Магнитофон заблажил про лесоповал, и друзья чокнулись:

– За Рождество!

– За Рождество! Святое дело!

Потом гремели тосты «за встречу», «за баб», «за дружбу», «за родителей» и ещё какие-то... Много всяких. Когда водки от души наелись, Рыжий принес по кружечке пивка. Выпили за «доблестные военно-воздушные силы!». Опрокинув кружку, Филиппыч вскочил и заорал в потолок:

– Становись! Р-равняйся!

Потом, обратился к двоящимся друзьям:

– А вы хоть в армии-то б-были? Вы хоть знаете, что это, а? Я вот пробегаю утром по плацу, солдатики стоят. Я им: «Р-равняйся!» – Филиппыч козырнул, – а они только мэ-мэ-мэ. «Да я вас всех!!!» – говорю, а что с них возьмёшь, с таджиков?

– С таджиков?

– Так точно!

Пьяный Филиппыч держался за стол и орал так, что в кабаке посматривали на него с опаской. Когда он повёл, перекрикивая магнитофон, о том, какво жарко в тех местах, где он служил, то стало вдруг и впрямь жарко. Он решил снять ботинки. Отцепившись от залапанного стола, Филиппыч рухнул. Он возился лёжа, развязывал шнурки. Когда его наконец подняли и усадили, Рыжий принес ещё по кружке пива. Пить Филиппычу очень хотелось. Влив кружку в глотку, он закурил, а его левая рука сама намотала шнурки от ботинок на запястье правой...

...Гомон повис в дыму, мысли спутались. Где-то рядом грохнулся о кафель и разлетелся повсюду стакан. Стены текли. Где-то в липком мареве братались, уважали друг друга, всхлипывали невидимые люди. Где-то хохотали, орали. Торчала в дыму чужая серая ёлка. Под чужим потолком надрывался блатной магнитофон. Одиночество смотрело на бывшего лётчика из пьяного пространства – сидит в гомоне тихое-тихое и пялит зелёные очи...

...Постепенно Филиппыч перестал понимать, кто он и где находится, кто с ним рядом. Навалилась тоска по детству, по друзьям. Не по этим хитрым пропитым ромам, плывущим напротив, а по тем искренним Славке, Гусю, Рыжему, Бабуину, с которыми он любил мечтать, любил прятаться в разрушенной церкви и, покуривая тыренный у отца «Север», разглядывать фрески про грешников и «ефиопов»...

Вдруг в голове Филиппыча заискрило и щёлкнуло – включился застарелый войсковой рефлекс. Он вскочил и заорал:

– Становись! А ну, узкоглазые, р-равняйся! – машинально взял «под козырек», и ботинки, привязанные к запястью, больно отоварили пьяного Гуся.

– Шшшалава! – зашипел Гусь.

– Это кто тут «узкоглазые»?! – просипел Бабуин. А Славка ничего не сказал – просто встал, развернулся и треснул Воробья, хотя и пил целую ночь за его счёт. Прибежал Рыжий:

– Мужики, вы чего, эй! Сегодня в деревне ППС дежурит...

– Рыжая морда! – выдохнул Славка и засветил бармену в ухо.

Началась недобрая вязкая трескучая драка. Всё завертелось, побежало, споткнулось, опрокинулось... И погасло.

Потом грустный и мертвецки пьяный Филиппыч брёл куда-то по большаку. Его разбитое лицо упиралось подбородком в грудь. В душе разлеглась пустота. Босые ступни обжигал ледяной накат. Бушлат остался где-то в «Надежде», и было очень холодно. Знобило, зубы то и дело начинали стучать. Слышалось, как в церкви звонят – там тоже встретили Рождество. Филиппыч открыл левый глаз и увидел, как медленно поднимается перед ним дорога. Вот накат всё ближе и ближе. Когда дорога стукнула его и расквасила нос, он попытался её оттолкнуть. На секунду ему это удалось, но потом дорога поднялась так стремительно, что он не успел даже закрыться. После ледяного удара по лбу в голове Филиппыча загудело. Рыжие воробьи зашипели гусями в оба уха, перед глазами понесли лица друзей. Тех друзей, настоящих. Живых и погибших, сбитых над «горячими точками» – родные лица. Вот и лицо покойной матери. «Это всё ефиопы, – объясняет она, – а там, – указывает, – грешники мёрзнут, не могут согреться. Это тартар».

Да... Тартар...

Вдруг Филиппыч догадался, почему его знобит! Он протрезвел:

– Это же тартар, вот меня и морозит! Я же помер! Это, наверное, когда меня табуретом... Ох ты, Господи! А где же ефиопы?.. Мамочка! Ага, вот и они!

Медленно приближаются двое, метут хвостами, печатают копытами лёд.

Волосы зашевелились, глаза раскрылись в ночь, зубы заклацали сильнее. Даже на войне было не так страшно.

Филиппыч лёжа перекрестился – вспомнил, как в детстве умел. Встряхнулся, отставил панику, собрал мысли:

– Сдаваться без боя нас не учили.

Двое всё ближе... Мрачные, серые, как на фреске. Филиппыч изготовился:

– Пусть эти твари подойдут поближе, я их...

Когда два серых силуэта склонились к Филиппычу, он сунул одному кулаком в мохнатое рыло – промахнулся, а другого угодил увесистыми лётными ботами, привязанными к правой руке, прямо по рогам огрел, шапку сбил.

– О, наш клиент! – обрадовался один. – А ты всё «труп, труп»! – А другой, который получил армейской обувью, молча снял с ремня наручники и обидчика зафиксировал. Подъехал «бобик», и двое патрульных поволокли Филиппыча к нему.

– Куда вы меня тащите?! Не хочу-у!..

Даже там, над горами, когда его машину тряхнуло, потянуло вниз, кабина заполнилась дымом и штурман обвис на ремнях, было не так жутко.

– Не хочу в тартар, не надо! Господи! Прости меня, грешного! Я исправлюсь! Не хочу-у-у! Не надо-о-о! Пожалуйста-а!..

В «бобике» уже ждали побитые Гусь, Бабуин и Славка.

– И вас в тартар, тоже? – спросил их Филиппыч.

– В какой ещё тартар-шмартар? – прошипел обеззубленный Гусь, – В ментовку в район! На шамое Рождество! У людей пражник...

Славка поддакнул:

– Ага, ничего святого, падла! – сплюнул, – Эй, вы, гады! Свободу!

– Это... Это... Значит, я жив?

Трясаясь в зарешёченном «бобике», Филиппыч ликовал. Какая же она, оказывается, хорошая – жизнь! И как раньше это не замечалось? Ощущал себя явившимся на празднике, где всякому рады. И откуда-то в голове такое, будто кто-то свой ласково успокаивает: «Вот наконец и ты! Ну, проходи, живи с нами. Много всякого было, но только будет же и Святое утро, знаешь?» Филиппыч подозревал, что это – родился Бог.

– Ведь хорошо же, а? Живём, братцы!.. Живё-о-ом!

«Братцы» переглядывались, крутили у виска. Милиция приказывала заткнуться. Но Филиппыча невозможно заткнуть – всё окружающее удивляет, радует. Жизнь!..

– Когда отпустят, пойду каяться. Я вспомню, как.

Собутыльники не поняли:

– Ш можгами-то в порядке?

– Так точно! – кивнул им Филиппыч, – Было не в порядке, да прошло.

Те отвернули головы, насколько могли...

В отсеке УАЗика тесно – ни повернуться, нидохнуть. Воляет бензином. Скачет козлом по ухабам милицейская машина – прыгает за решёткой удаляющееся село. А по окрестным полям рассыпались и мерцают драгоценные бриллианты. Всё в бриллиантовом блеске, вся бескрайняя земля сплошь в драгоценных россыпях! Скоро рассвет. Скачет за машиной месяц по лесным верхушкам. И звёзды, звёзды... Сплошные звёзды!

НА СТРАЖЕ

В час, когда утренняя смена прошла на комбинат, а ночная ещё не выходила, на проходной делается тоскливо. Охранник Гена Мохов – бывший прапорщик – со своим напарником-стажёром потягивают чай и таращатся в окно. Чай чёрный, осень за окном жёлтая. Над рекой Белой факел нефтехимкомбината выдыхает в серое небо тяжёлое малиновое пламя. Все кроссворды в мире разгаданы, все анекдоты рассказаны. В такие минуты хочется чего-то такого... такого... Но ничего такого не происходит. Часы «Электроника» светят зелёной тоской, уборщица бабка Шура трёт окно проходной снаружи.

– Сучно, – вздыхает охранник Мохов, и стажёр тоже вздыхает.

Но вот в неурочный час скрипнула дверь, и к турникету направился невысокий человек. Нелепое пальто, дурацкая шляпа, тёмные очки и портфель развеселили Геннадия. Он подмигнул стажёру и преградил человеку путь:

– Куда?

Человек кивнул в сторону комбината:

– Туда, – и попытался пройти.

Гена растопырился:

– Пропуск!

Человек приподнял очки, взгляделся в охранника, промямлил:

– Мне надо, – и снова попытался продвинуться. Но Гена стоял скалой, и человек в эту скалу упёрся:

– Мне надо, пропустите!

– Хе! – усмехнулся страж, – И мне надо, – указал на стажёра: – И ему надо, хоть он и без шляпы. И той бабке за окном надо. И поэтому у нас есть пропуск. А у тебя есть пропуск?

Человек озадачился и полез в портфель. Он там рылся и всё бурчал: «Где же он, был же, куда же он...», – потом проверил карманы, но так ничего и не нашёл. Впрочем, в кармане нашёлся бумажник. Человек вынул купюру, протянул охраннику, но Геннадий покачал головой и указал человеку на дверь. Посетитель ещё больше озадачился:

– Ну-у! – оценивающе оглядел охранника и вышел. Гена высунулся следом и узрел, как потешный человек несёт свой портфель вдоль забора в сторону Четвёртой проходной.

Мохов обернулся к напарнику:

– Видал клоуна? На Четвёртую пошёл...

Бледный напарник дрожал, протягивал Геннадию свёрнутую валиком многотиражку, которой раньше били мух. Гена развернул валик и оторопел: с чёрно-белого оттиска, сквозь размазанных насекомых на бывшего прапорщика Мохова глядел этот самый человек. Правда без пальто, маскирующих очков и шляпы. И выглядел он здесь не забавно, потому что это был директор комбината, так гласила надпись. За окном, крестясь на трубу цеха «Полистирол», сокрушалась набожная бабка Шура, которая всё видела. Мурашки пробрались под униформу Геннадия, забегали по спине. Мурашки свербил под форменной бейсболкой, щекотали под ремнём, на котором болталась кобура с сигнальным пистолетом...

Мохов не признал собственного директора, хотя видел его на трибуне ДК, видел по телевизору в местных новостях, да мало ли где видел! Но, чтобы здесь, на рабочей проходной? Такого еще не бывало! Всевидящий глаз камеры пялился с потолка. Это был позор.

Вскоре повалила отломавшая своё ночная смена. Охранник Мохов возвращал труженикам пропуска, а сам страшился взглянуть в их лица. Вдруг они уже прослышали о его конфузе? Здесь, на комбинате, слухи расползаются быстро. Стажёр поник. Гена ждал, что вот-вот зазвонит телефон, его вызовут в отдел кадров, где пристыдят и уволят. Но телефон молчал.

Когда ночная смена погрузилась в вахтовки и убыла, к сторожам вошла погреться уборщица бабка Шура. В далёкие сороковые она этот комбинат строила: мобилизовалась из деревни, жила в палатке, месила бетон, потом – у станка. Так и прожила. Из уважения старушку-ветераншу на пенсию не списывали, но

кроме тряпок ей давно уже ничего не доверяли. «Её вот никогда не уволят», – позавидовал Мохов.

Стажёр предложил бабушке чаю, высыпал на стол пряники. Налил чаю своему шефу, себе, сел на подоконник и принялся хлюпать. Геннадий по привычке сразу набил пряниками рот, но аппетита не было. Старушка огляделась и не найдя образов, закрестилась на монитор охранной системы.

– Баб Шур, ты видала, как я с директором? – спросил Мохов. Уборщица кивнула.

– Рассуди по справедливости, я прав?

– По справедливости прав, – глядя в чашку согласилась бабушка, – Только не по-людски это. По-людски-то – поговорить бы, расспросить.

Геннадий оправдывался:

– Бабуль, у меня инструкция. Ты ведь тоже свои заповеди это? Того? Значит, тоже инструкцию соблюдаешь? Правильно?

Старушка поставила ополовиненную чашку и вздохнула:

– Правильно.

– Зачем тогда инструкция, если с каждым вошкаться? Правильно? – утешался Мохов, и бабка согласилась:

– Правильно. Только, когда б тебя самого, дубинушку, по инструкции да по справедливости погнали, тебе б не понравилось.

– Как это?

– А так. Вон у тебя написано «За курение штраф 1000». Ты раз пять-то уже с утра покурил? Выкладывай за все разы! Пожарники тебя в камеру видят и молчат. Потому что вникают – скучно тебе, вот и по-людски. А если каждый станет курить, комбинат полыхнёт, а с ним полгорода?

– Ерунда какая-то, – удивился Мохов бабушкиным познаниям и покосился на камеру, – Хотя что-то в этом есть...

– Есть, есть. Заставь дурака Богу молиться... К людям подход нужен.

Геннадий не ожидал от старушки таких речей, удивился и решил бабусю подразнить:

– Баб Шур, а это у вас ещё из деревни? Чтоб перед едой молиться, да?

– А как же, не молившись-то? – ответила старушка и отхлебнула из чашки.

– В глухомани что, все так?

– Молятся-то? – не поняла бабка, – Не, не все. Люди только.

Гена оторопел от бабкиной остроты. Он хотел было как-нибудь съязвить в ответ, принялся мычать, перебирать в уме

шуточки про старух, но тут зазвонил телефон: Мохова вызывали к директору. Он заволновался, поправил кобуру и шагнул за дверь...

Уборщица допила, отправилась тереть окно. Стажёр ополоснул чашки, покосился на часы, уселся и развернул газету с начатым кроссвордом. По горизонтали спрашивалось про рыбу семейства карповых. Выходило, что начинается эта рыба на «к», а заканчивается на «ась». Стажёр наморщил лоб, принялся грызть карандаш, но на «к» из всех рыб вспоминалась только камбала и почему-то катаракта. «Эх, а шеф эту рыбу с наскака бы уделал!» Нефтехимкомбинат, как всегда гудел и дымил...

Шло время, день угасал. Вот уже стажёр самостоятельно запустил ночную смену, скоро дневная потянется к выходу, а Мохова всё нет. Злосчастная рыба семейства карповых совсем изъела мозг стажёра, когда хлопнула дверь и проходная озарилась улыбкой пьяненького Геннадия.

– Что я говорил? – пропел он напарнику, – Инструкция! – и прищёлкнул пальцами.

Бабка по-прежнему тёрла снаружи окно. Мохов расплющил о стекло физиономию и прокричал так, чтобы на улице слышала:

– Во! Инструкция! – извлёк из нагрудного кармана конверт и помахал им из-за стекла перед носом уборщицы. Потом обернулся к стажёру:

– Видал? Маринуюсь в приёмной, не знаю уже, что и думать, наконец вызывают. Вхожу. А он довольны-ый! Запись с камеры показал. Вот, говорит, какой ты у меня боец! Взятку не берёшь, говорит, и всё по инструкции! А это он нас проверял. Сказал, что на День химика грамоту выпишут, а пока вот, – Гена помахал конвертом. – Премия! И коньяку налил. Сам, – от Гены действительно тянуло коньяком. – А с Четвёртой всех уволил.

Напарник заёрзал на стуле, закричал. А Гена снова помахал бабке в окно своей прибылью. Но бабка не глядела, бабка в сотый раз намыливала тряпку, её старенькая голова мелко тряслась...

... Охранник Мохов приосанился, вдохнул, расправил плечи, потянулся. Истома растеклась по жилам. Нет, определённо в этой жизни что-то есть! И радость есть, и сюрпризы, и, главное, есть справедливость. Гена сунул конверт в нагрудный карман, похлопал по карману, ощутил возле сердца тепло. Скоро через его, Генину, проходную пойдут люди, много людей. И относиться к ним с подходом совсем не требуется, теперь-то уж это ясно.

Будет возвращаться со смены жена. Гена выхватит конверт и при всех повертит у неё перед носом, будет сюрприз. И все увидят, какой он молодец. И пусть видят! А жена похвалит. Потом, дома...

Комбинатские трубы и установки зажигали рубиновые маячки, часы на проходной зеленели ярче: счастливый день завершился, а так хотелось, чтобы он не заканчивался!

Вскоре на выход потянулись уставшие дневные рабочие. Вот катится толстенький бригадир транспортного цеха, ноги колесом. Вот тянется перепачканный, как галоша монтер из цеха «Мазут», неплохой, кстати, мужик. Вот едва волокутся Мардан Шаймарданов и Рафик Абдрафиков – операторы с производства «Синтез-спирт». Они громко уважают слесаря Гарифуллина, который повис на их плечах и сам уже больше уважать не в силах, а только ворочает глазами. К турникету выстраивается очередь. Мохов цветёт, выдаёт пропуска, отмечает в журнале. Народ тянется к домам, к семьям, к ужину, к чаю. Все идут. В мире всё куда-нибудь идёт, и потому повсюду порядок. Надо только знать, кого пропустить, а кого нет. А на это и есть инструкция.

Вот наконец и жена! Она завхоз строительной бригады, женщина соразмерная. Геннадий обрадовался, сунул пальцы за конвертом и только тут заметил, что пуговицы на плаще жены подозрительно разъезжаются. Гена попридержал руку с пропуском и уставился на неё. Она загадочно подмигнула: потом, мол, всё объясню. И поманила рукой: давай уже пропуск. Гена смотрел на жену и ничего не понимал. За её спиной волновалась очередь. Жена расстегнула верхнюю пуговицу, и Мохов увидал под плащом старый спецовочный ватник.

Она наклонилась к охраннику и прошептала:

– Ватник списанный вот, на рыбалку тебе.

– А у меня, у меня... – замялся Гена... и нащупал пальцами конверт. Он хотел сказать: «Сюрприз», но тут его оконьяченный взгляд скользнул по всевидящей камере, и вместо «Сюрприза» он отрапортовал:

– Инструкция!

Всё верно, инструкция! Перед охранником стояла не жена, перед ним стояла расхитительница! И эта злодейка тянула преступную лапу к пропуску!

В очереди послышался ропот. Гена подбросил пропуск жены своему стажёру, а лиходейке скомандовал:

– Назад!

– Ты чего, Ген? – удивилась жена и сделала шаг к турникету. Бывший прапорщик выхватил сигнальную Беретту, передёрнул затвор:

– Назад! Не положено! Инструкция! – и поднял оружие.

Жена оскорбилась, выпятила губу, сделала шаг навстречу непримиримому стражу. И напрасно.

– Предупредительный! – взвизгнул бывший прапорщик Мохов и бабахнул в потолок. Звонкая гильза запрыгала по бетону, глаза защищал едкий пороховой выхлоп, зазвенело в ушах. Народ попритих, а в очах расхитительницы показались слёзы:

– Инструкция, говоришь? – она расстегнула плащ, стянула с себя списанный мужской ватник и швырнула его в физиономию сторожа: – Вот тебе инструкция! Подавись! – злодейка схватила Мохова за грудки, тряхнула и отбросила прочь. Гена отлетел, но устоял. – Придешь домой, я тебе покажу инструкцию! Чтоб ни на кухню, ни к спальне – ни на шаг! Дубина! Остолоп! Инструкция! – и жена выскочила за проходную.

Очередь оскалилась и загототала. Гоготал перепачканный, как галоша, монтер из цеха «Мазут», гоготал округлый бригадир транспортного цеха, гоготали все. А Мардан Шаймарданов и Рафик Абдрафиков – операторы производства «Синтез-спирт» – не гоготали. Они молча сурово кивали, они били себя в грудь, они уважали охранника Мохова...

Вот уже над Белой проснулся золотой месяц, часы «Электроника» изумрудно зеленеют, показывают, что дежурство скоро окончится. Бабушка Шура в свете фонарей всё трёт и трёт оконное стекло, трясётся её старенькая голова. Геннадий вручает рабочему классу пропуска, Геннадия похлопывают по плечу, острят и хихикают. У Геннадия горит лицо. Где-то глубоко-глубоко в недрах его военизированного сознания зарождается смутное подозрение, что кое-какие поправки в его инструкции кажется всё-таки не помешали бы. Вот только, какие?..

И тяжёлое малиновое пламя факела отражается в холодной реке...

ПОПОВСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Отец Георгий из села Горянина получил благословение издавать приходскую газету.

Что ж, дело нужное, жить по-старому в век инноваций не годится. Все ближайшие к Горянино приходы уже занимаются из-

дательской работой, чернил, что ли мало в принтере? В соседнем Бобрешово, например, настоятель раздаёт в церкви свою газету «Бобрешовская вера». Другой сосед – настоятель из села Лунино – выпускает «Лунинский трезвон». А Котельниково, которое лежит от Горянина километрах в тридцати, уже читает издание своего батюшки под названием «Тяжкий крест».

Отец Георгий благословение принял с пониманием.

Вечерком батюшка смахнул со стола крошки, уложил лист бумаги, взял карандаш и разлиновал этот лист, обозначив места для лозунга и названия. Потом разметил ячейки для будущих материалов. Всё шло как по маслу, и никакой такой хитростью журналистика не грозила. В правом нижнем углу батюшка оставил немного места для наглядной агитации:

– Что бы этакое туда нарисовать, для людей полезное? От писания бы... Хм... – батюшка наморщил лоб, – О, придумал! Нарисую туда, как пророк Иона перед огромной тыквой удивляется, руки растопырил. И подпись надо: вот, мол, как должно хозяйствовать на земле, с Божьей помощью! Агроном увидит, призадумается.

Чтобы не забыть своего озарения, настоятель спешно набросал контуры будущей агиткартинки – маленького огурцеобразного человечка перед чудовищной тыквой, смахивающей на помидор.

– Так, дальше... Сюда вставим статью про пост, а сюда вклеим фельетон про Петровну. Точно! И карикатурку надо, мол, Петровна-то ведьма, – батюшка хихикнул.

Он обозначил крестами зарезервированные площади. Вот, кажется, и всё, первая (она же и последняя) полоса, как будто заполнена. Осталось газету назвать и приступить к писанине.

Отец Георгий почесал карандашом возле уха, посмотрел туда, где должно быть название. Призадумался:

– Так... Какие они вообще бывают эти названия? Так... – он полез в книжный шкаф, извлёк стопку церковных газет, которые уже издаются соседними приходами, разложил их перед собой и принялся изучать:

– Та-ак... Лунинский трезвон... Хм... Трезвон... Так-так... Нет! У самих, главное, и колокольни нету, а туда же – трезвон! Чем трезвонить, лучше б колокольню построили. Тьфу! – батюшка отложил Лунинскую прессу.

– Так, дальше... Бобрешовская вера... – отец Георгий озадачился: неужели в Бобрешово вера не такая, как в его Горянино? Поразмыслил-поразмыслил да как прыснет:

– А ведь и правда не такая! Таких Вер, какая у них в сельмаге торгует, у нас днём с огнём! – он вспомнил десятипудовую тётку Веру, что занимает половину магазина в Бобрешово и расхохотался, – ох-хо-хо, ох, Бобре... Бобрешовская Вера... Ох... Михайловна... Ох...

Когда отсмеялся, подошла очередь газеты «Тяжкий крест». Батюшка подержал её в руках, припомнил Котельниковского настоятеля, покосившуюся Котельниковскую церквушку, их разорённую школу, развалины телятника, отпевание последней старухи-певчей, лицо тамошнего священника, которого благословили издавать приходскую газету как раз после того, как у единственного в деревне мужика развалился дряхлый чихающий трактор. Творение и правда казалось тяжким, батюшка опечалился и сник.

Выходило, что название газеты – это больше, чем полдела, и придумать его для своего издания оказывалось непросто.

– «Горянинский благовест» – звучит избито. «Горянинское кадило» – слишком заупокойно. «Горянинская правда» – покомсомольски. «Вечернее Горянино» – вовсе не церковно.

Кажется, что некое яркое словцо трепыхается птицей где-то поблизости. Кажется, закрой ты глаза и можно схватить его прямо за пёстрый попугаистый хвост и посадить в название. Вот оно это слово, оно порхает то у одного, то у другого уха. Но стоит лишь вскинуть к нему пятерню, как ничего не бывало.

Батюшка даже перебрал в голове названия старых советских газет в надежде на лёгкий и незаметный плагиат, но и здесь – увы. «За рубежом», «Труд», «Известия» и «Гудок» никаким боком не лепились к горянинской жизни. «Литературная газета», «Пионерская правда» и «Советский спорт» тоже.

– Нужно ведь так, чтобы звучало ярко, и чтоб – полезно. Прочёл ты, например, всего лишь название и сразу – слёзы, и сразу душа трепещет. Ну, или прочёл и тут же бросил ругаться. Ну, или пить. И сразу о Небесном царстве подумал... Так-так-так... Стоп! – батюшку осенило, – Ну-ка, ну-ка... А что, если... «Небесное царство», а? – лицо отца-редактора просияло, – Именно, именно! «Небесное царство»! Газета прихода Никольского храма «Небесное царство»! Ух, звучит!

Батюшка обрадовался, расплылся в улыбке. В его голове нарисовалась идиллическая картинка: Архиповна спускается по церковным ступенькам, навстречу ей кума: «Что нонче в церкви раздавали, Архиповна?» А та ей: «Небесное царство, кумушка...»

– Хм... Стоп. Если с этой стороны, то название не годится.

Отец Георгий огорчился, постучал карандашом по лбу.

– Хм... А что если... так: «Ключи от Царства небесного», а? Ну-ка, ну-ка?.. – он попробовал вообразить прежнюю картинку с новыми обстоятельствами: Архиповна спускается с церковной паперти, навстречу ей кума: «Что это у тебя, Архиповна, из кармашка торчит?» «Ключи от Царства небесного, кумушка. В церкви всем сегодня выдают».

Отец Георгий замотал головой:

– Нет, нет, нет. Не пойдёт. Этак, что-то уж шибко двусмысленно. Вроде того, как... Нет, нет...

Журналистика священнику не давалась. Отец Георгий напрягался и успокаивался, изобретал новые названия, морщился и отметал их. Сквозь свои напряжённые думы он глядел в окно. Там, за стеклом, искрилось в пруду закатное солнце – храм над прудом ярко розовел. Возле настоятельской изгороди торчал опершись нетрезвый Лукич. Тот самый Лукич, который за глаза поругивал отца Георгия. Тот самый, который, было дело, варил суп из настоятельской курицы, что по недоразумению пробралась на его двор. Тот самый Лукич, который любит выпить и скабрёзно поорать, как раз под воскресенье, когда батюшка готовится к службе. Тот, который на все настоятельские обличения отвечает матом. О, сколько же бесценного бисера разбросал перед этим Лукичем отец Георгий! Всё без толку. Видно не мог найти подхода к его спящей христианской душе, не мог её растормошить. Точно так же, как сейчас, с названием газеты, не может найти одного слова, всего одного, которое бы обожгло, отрезвило...

Батюшка глядел на Лукича и всё думал, думал...

Лукич докурил свою сигарку, высморкался, вытер соплю о калитку отца Георгия и побрёл себе, шатаясь. «Брр!» – батюшку передёрнуло. И вдруг ему показалось, будто он ощутил то неуловимое ёмкое слово, которое возвращает смысл любой потерянной жизни! Он тут же склонился над разлинованным листом и заскрипел карандашом. Название выходило округлым, ощутимым, выпуклым. Вдохновлённый отец Георгий давил на карандаш, выводил буквы отчётливо, жирно. От карандашного скрипа по спине бежали мурашки...

Он выдохнул только когда дорисовал последнюю букву газетного названия. Выдохнул и посмотрел в окно. Оказалось, Лукич не ушёл. Он упал, извалялся в пыли, пытался подняться, вставал на четвереньки и снова падал. Батюшка нахмурил

брови и принялся пририсовывать к названию восклицательный знак. Нарисовал, покачал головой, задумался. Нарисовал второй. Попытался было добавить и ещё один, но карандаш сломался. Отец Георгий отправился карандаш наточить, да что-то там с ним замешкался...

За окном собирались тучи. Когда солнце село, тучи совершенно заволокли небосвод и на Горянинскую землю упали первые тёплые капли, запахло прибитой пылью. Мухи перестали жужжать и биться о стекло. Немного погодя небо полыхнуло, и по окрестным полям покатались огромные пустые бочки. Батюшка вернулся с карандашом, распахнул окно. Свежий ветер ворвался в комнату, смёл со стола все плоды приходской журналистики, в которых метко отразились переживания отцов-редакторов, и разбросал бумаги по полу. «Бобрешовскую веру» придавило «Тяжким крестом». Обособленно от готовой печатной продукции, посреди комнаты, приземлился проект нового эпохального творения. Отец Георгий опустился перед ним на колени и дорисовал третий восклицательный знак.

В свой срок наступило воскресенье.

Денёк выдался хоть куда! Комбайны вышли в поле ещё до зари – уборочная стартовала. Из церковных окон хорошо гляделось, как сельхозтехника маленькими красными букашками расплзлась по дальнему золотистому полю. Батюшка вдохновенно служил. Радовался лету, солнцу, жизни – щедр Господь и многомилостив! Когда отошла обедня, певчая бабка Нина, как всегда, взобралась на колокольню и провожала трезвоном всех пятнадцать нынешних прихожанок до самых дворов. Как и мечталось отцу Георгию, старенькую Архиповну повстречала кума. А у Архиповны, как раз, глядела из кармана замечательная свежая газета, которую по рисунку отца Георгия сверстал батюшкин сын и распечатал её на ветхом принтере.

В этой газете всё было, как и планировалось: и пророк Иона с тыквой, и статья про пост, и колкий фельетон про Петровну. Жирное название газеты «Царство тебе небесное!!!» лоснилось и пачкало пальцы синей краской.

НАД БЕЛО-РОЗОВЫМ МОРЕМ

Дед спозаранку взобрался на крышу сарая. Высоко сидит, выше цветущих яблонь. Он стар и лыс. В кармане его штор-

мовки обойные гвозди с большими шляпками. Он достаёт их по пять, держит поджатыми губами. Сидит на развёрнутом листе рубероида и снизу смахивает на римского патриция – волосы на висках всклокочены, торчат лавровым венком над покатою лысиной. Один такой, похожий, в венке, висит в кабинете истории. Патриций мычит себе под нос песенку «На Волге широкой, на стрелке далёкой...», берёт двумя пальцами гвоздик, прижимает рубероид к крыше. В другой руке молоток. Тюк-тюк-тюк – и гвоздь по шляпку входит в кровлю. Дед разворачивает чёрный рулон, перемещается за ним по крутому скату. Тюк-тюк-тюк – и переползает дальше. Ловко у него получается! Внук заморожено любит с низу.

– Что, Борька, в школу? – с гвоздями в губах у деда получается «Фто, Бойка, ф фкоу?»

– Ага...

– Неофота?

– Неохота.

В школу и правда неохота. Но Борька знает, что осталось учиться три несчастных недельки и терпит. Да, всего-то три недельки и к соседке – бабке Скоковой – привезут на лето Олежека, а к Манучихе – Андрюху. Олежек придурошный и умеет курить, а Андрюха делает из велосипедных спиц пугачи и ловит банкой карасей. Компания что надо. И у обоих раскладные велики.

– Дед!

– Фто?

– А можно мне тоже на крышу, помогать?

– Я ефё не законфю к твоеу пыхоуду. Пыидёф и заазь.

...Нет, «неохота» это не то слово. Такого слова, каким в мае неохота в школу, в четвёртом классе ещё не знают. Борька плетётся с портфелем, а по садам бушует бело-розовое яблоневое море. Шкрябает кедами засохшую колдобинами землю, а по деревне орут петухи. В палисаднике напротив магазина бело-розово – клубится черешня, и под ней завелись юные тюльпаны. Где-то блеет козёл, гуси пробуют молоденький спорыш, трясут клювами, довольны.

На крыше магазина – коты... а в кармане у Борьки рогатка. Борька озирается и целит в кота. В громкого, рыжего, который на серого орёт. Долго целит, не дышит, чтоб руки не ходили. Ещё мгновение и правосудие припечёт агрессора под самый хвост. Но внезапно Борьку сцапали за ухо. Он взвизгнул и промахнулся.

– Ах ты паразит! – новый школьный военрук старый майор ухватил цепко, не вырваться, – Вот, кто в магазине стёкла бьёт! Ну всё, попался, брат, – военрук вырвал у Борьки оружие и отправил в карман своих брюк с лампасами.

Борька зашлюпал:

– Я не стёкла, я кота хотел...

– Кота? Чем тебе бедный кот насолил?

– Он не насолил... он злой, он обижает... орёт на серого...

Седой майор смягчился, немного попустил свою крабовую хватку:

– Так ты что же... получается, заступался за слабого?

– Угу.

– Ну... – военрук будто немного растерялся, – Ну, не знаю.

Хорошо б тебя, защитник, отвести к родителям, чтоб высекли...

– У меня одна мамка, она в городе живёт.

– А ты?

– А я у дедушки с бабушкой. Они меня не секут.

Старый майор озадачился. Как быть? Надо бы озорника поучить, но как судить защитника...

Военрук усомнился:

– А ты точно, не по окнам? – глупый вопрос, – Гм. Ладно, а кто твой дед?

Борька назвал дедову фамилию.

– А, это... рядом с Манучихой-то? Ну... – майор выпустил благородное ухо, оправил свой китель. Велел передать деду привет и легонько подтолкнул пацана в сторону школы.

Всю учёбу Борька отходил героем! Подумай: пострадал от врага, перенёс пытку – алое ухо так и светит. Враг коварно подкрался, вырвал оружие, но боевого духа не сломил: геройские руки в карманах, нос выше макушки, пионерский галстук вылез на пиджак – и ладно! Главное ведь всё равно не это. Главное – впереди! И оно – главное – скоро зазвенит жаворонками, затеребит на реке поплавки, загрохочет Андрюхиными пугачами и сведёт скулы земляничной оскоминой. А ещё будет покос – возможно, позволят править конными граблями. Возможно, дед подарит наконец свой ржавый мопед – он давно обещает. И будут надеты на сучок и зажарены на костре пескари, и плечи обгорят, а потом облезут. И над всем этим будет густо плавать нестерпимый донник...

Весна... Великое беспокойство процветает под небесами, ширится, растёт...

...Борька возвращается домой, суетливо идёт, с подскоком. На изумрудной лужайке выткнули свои мордочки жёлтые

одуванчики. Пробивается у свалки горлупа. Солнце играет, звенит... Всё звучит, всё вокруг – сплошная мелодия! Даже своя калитка и та поёт по-весеннему.

Дед, как и обещал, по сию пору светит лысиной с высокой крыши сарая. Оттуда, слышно, напевает сквозь зажатые губами гвозди: «...гудка-ами коо-то вовёт фароход...» Борька переоделся, и к нему на подмогу. Ухватил с грядки молодого щавеля, набил рот, скривился. Карабкается по лестнице, жуёт, морщится.

Рубероид под солнцем размяк. Борька прорвал дыру на самом верху ската, и дед заставил его самостоятельно заделать прореху. И так и этак вертит Борька молоток, и так ухватит гвоздь и этак – всё ерунда получается. Дед посмеивается:

– Что, мастер, помочь?

– Угу, – Борька проводит под носом чёрным от рубероида пальцем и превращается в гусара.

Дед переползает по скату к нему. Тюк-тюк-тюк – готово. Борька смущённо ковыряет ногтем гвоздь. Дед ухватывает гусара за нос:

– Мастер-колесник... старой бабушке ровесник. Эх ты...

Борька шмыгает носом. Хочется поскорее забыть свою неловкость, и он заговаривает о другом:

– Дед, тебе военрук привет передаёт.

– Ну... и ты ему передавай.

– Он что, твой друг?

– Да как тебе сказать... Бежали вместе.

Борька устался на деда:

– Бежали? Куда?

Дед вдруг ослаб, сел на коньке, сложил облизанные гвозди обратно в карман, устался поверх цветущего сада:

– Куда бежали-то? Домой бежали. А куда ещё бегут, – песня про широкую Волгу вмиг потухла, поплыла вдаль туманцем. – Меня почти сразу взяли, сразу, в сорок первом. Под Курском. Мы тогда отступали, не оглядывались. Я лейтенанта в штаб отвёз, возвращаюсь один. Из леса выехал, а они уже на опушке, штук десять. Главное, туда ехал, здесь ещё наши стояли, а обратно, вот... «Рус, здавайс!» Не помню, как с мотоцикла слез. Помню только, что куда-то вели, в спину всё время толкали... Помню, рожи у них довольные, сытые...

Дед поперхнулся.

Лицо патриция, то дрогнет застенчивой полуулыбкой, то по нему пробегут еле заметные судороги. Кажется, будто он к че-

му-то прислушивается и не может расслышать, губы поигрывают то досадой, то недоумением...

– Дед, а бежали-то...

– А? А, бежали... Бежали-то уже после, в сорок пятом, в марте. Я под Веной, в деревне, на хозяина батрачил. Нас таких много было, у каждого в деревне прислуга и работники из наших, пленных. Когда наши к Австрии подошли, *эти* нас всех собрали со всего округа, свезли на полянку. Помню, шофёр, что нас вёз, гражданский. А какой расстреливал, тот уже в полевой форме, правда без погон. Однорукий, старый. Выстроил нас: «Руссиш швайн! Тринкин шнапс унд шпилен балалайка!» ... Как он одной рукой затвор передёргивал, я не заметил. Главное, тогда ещё подумал: «Как же этот хрен будет одной рукой взводить?» Думал ведь про это, а не заметил. Как сейчас вижу, держит этот однорукий автомат, упёр в рёбра, целит по нашей шеренге на уровне сердца и медленно-медленно ведёт. Я выстрелов не слышу, только вижу, как автомат подпрыгивает, гильзы отлетают и с правого края наши тощие начинают валиться. Вот до меня ещё семь человек, вот – шесть, вот уже четыре... Готовлюсь, скоро моя очередь. Вот уже сосед мой дёрнулся, упал. А я думаю, как так, выстрелов не слышно, а они валяются... Тут меня в руку толкнуло, дёрнуло повыше локтя, развернуло, я и скопытился...

Дед снова поперхнулся.

...Лёгкий южный ветерок прилетел, погнал волну по розоватому яблоневому морю. Волна покатила, покатила, добежала до сарая и разбилась об угол, пониже кровли.

– Дед, а бежали-то?

– А, это уж после. Я тогда упал, думал что помер. Которые рядом, те – кто сразу затих, кто хрипит, кто корчится. Немец прошёлся вдоль нас и к шофёру в кабину – прыг, даже борт не закрыли – я-то щурюсь, вижу – и укатили. А я себе думаю: «Если борт не закрыли, значит ещё за кем-то поехали». И точно. Время прошло: которые рядом – коченеют. Тут эти двое, привозят ещё полный кузов таких же тощих. Так же выстроили и так же бесшумно... Один мне на голову свалился, придавил. Кровь из него глаз мне залила, а другим-то в щёлочку я вижу: фрицы борт защёлкнули. Значит на сегодня у них всё. Укатили. Который меня придавил... слышу, сердце сверху мою голову в песок вколачивает: тук-тук, тук-тук. Когда стемнело, я его с себя спихнул, он застонал, глаза приоткрыл. Я его растормошил и поползти к лесу. Ему лёгкое прострелило. Нам с ним всего по одной пуле

досталось. Дня два ползли, за лесом нас австрияки подобрали, спрятали в сарае. Мы у них с неделю отлежались и...

Борька раньше видел у деда шрам, повыше локтя. Думал, это от прививки... А это, оказывается, вон от какой прививки. Если прикинуть, до сердца сантиметра четыре не дотянул, промазал однорукий.

– Вот. Бежали... Ползли больше. Ну, а когда до своих доползли, нас опять в сарай, под замок. С неделю продержали. Его, этого, раз на допрос вызывали. А меня и не допрашивали... Он потом, после войны в Вене дослуживал, в армии остался, а я за Пермью. Недолго, правда, три годка дали... дослуживал... Теперь вот он в отставке, хату у нас в деревне купил, приветы передаёт. Ну, коли так, и ты ему от меня привет снеси. Скажи, дед, мол, в гости зовёт... Чего уж теперь-то...

Дед замолчал. Его лицо успокоилось. Взгляд начал понемногу возвращаться, приближаться к пахнущей гудроном крыше.

– Н-да... Что-то мы с тобой, брат... это, отвлеклись. А? – дед достал пяток гвоздей:

– Ступай в хату, скажи бабушке, пусть обед собирает, пора вроде.

Борька спустился до половины лестницы и спрыгнул. Когда приземлился, что-то твёрдое вдруг подкатило к горлу изнутри, начало душить. Борька понял, что он вот-вот разревётся и в хату не пошёл – встал под стрехой переждать. Это твёрдое походило на обиду, но не обида – это точно. Обиду-то кто не знает? А это не обида, нет. Нечто гадкое, которое требуется непременно раздавить, растоптать. И неможется... Ведь если б однорукий фриц тогда постарался, то ни деда, ни Борьки теперь бы не было! И каникулы теперь никому б уже не светили. Но это – ладно, ерунда. Ведь главное, что сперва-то, выходит, мамку Борькину... уби-ил бы-ы!..

– Га-адина! – грудь парнишки разрывается, сердце стучит в мозги, кулаки сами сжимаются...

Борька закусил губу, но понял, что так рёв не удержать и залепил рот обеими ладонями, шумно задышал носом...

...А сад кругом гудит пчёлами. Густо-густо, липко гудит и приторно благоухает. Чернеет за штакетником перепаханный огород – пора картошку сажать, все уж посадили. Борька давится, дышит носом, сопит. Переживает.

А с крыши опять мирно сыплется «тюк-тюк-тюк» и катится, беспечно катится, тихонько, задумчиво над бело-розовым морем:

*На Во-олге широкой, на стре-елке далёкой
Гудка-ами кого-то зовёт пароход.
Под го-ородом Горьким, где я-асные зорьки,
В рабо-очем посёлке подруга живёт...*

В рабочем посёлке подруга живёт...

ПАСТОРАЛЬ

Отец Георгий из села Горянина, как известно, любит жизнь. Особенно Жизнь вечную. Батюшка часто о ней мечтает, и всякий раз при мысли о Вечности, его стареющий взгляд просветляется.

А недавно отец Георгий видел сон. Будто он на лугу. Только-только пробежал дождик, радуга в полнеба, а вокруг – ах! – даже слов нет! Умытые фиалки щурятся свету, колокольчики малиново трезвонят, иван-чай кивает пузатому шмелю, приветствует «Утро доброе!» – душа поёт! Облака в синеве – барашками, и где-то там, высоко-высоко ручейками льются жаворонки. Вокруг отца Георгия добрые овечки. Батюшка их лелеет, запускает пальцы в белые кудряшки: «Овечки мои, пасётесь?» Над облаками – батюшка знает – Бог. Бог благословляет всех, и все рады. «Привёл-таки Господь упасти своё стадо». И овечек-то всех-всех священник знает, будто это его прихожане. Вон та, голубоглазая – это бабка Маруська, она ещё, было дело, всё исповедоваться боялась. А вон та розовоносая это Лукичёва Танька, соседская девчушка-подросток, которая весной помогала батюшке картошку сажать. А вон тот белозубый крепкий мóлодец – совхозный зоотехник Николай, которого отец Георгий уговорил-таки в этот год поститься. Ух, какая она, оказывается, Вечная жизнь! Бабочки порхают, и с ними порхает батюшкина душа. Прописаться бы на этом лугу и цвести алым маком! Его преподобие от счастья прослезился, подумал, что он чаёт воскресения мертвых и жизни будущего века, хотел было в радости перекреститься, уже и руку занёс... Но тут под окном заорал петух.

Отец Георгий проснулся и уставился в потолок...

Ночью пробежал дождик, предрассветная свежесть колыхет на окнах тюль. В форточку веет зеленью, будто с того самого луга, и батюшке долго-долго не верилось, что он дома, что это был всего лишь сон.

Весь день отец Георгий пребывал в блаженстве, ходил сам свет. Внучку катал на шее, она хихикала. Кошке отдал свою пор-

цию холодца. По пути в храм бросил курам «мои ж вы ласточки», а когда повстречал Петровну, так ей улыбнулся, что та попятилась.

«Пастырь добрый душу свою полагает за овцы»...

...А Лукичёвой Таньке батюшка подарил серебряный крестик. Так день и прошёл.

Вечером, чтоб не забыть своего пресветлого видения, батюшка решил всё, что снилось описать. Он заперся в комнате, включил внуков компьютер. Подумал-подумал и принялся тыкать в клавиши указательным пальцем. Сначала не клеилось: то нужные буквы прятались, то мысли разбежались. Но ближе к ночи батюшку накрыло такое яростное вдохновение, что он обо всем забыл. Разгорячённый, он вбивал пальцем в литературное полотно полуночные откровения, делал это всё проворнее и проворнее. Получался настоящий полноценный рассказ. Автор самозабвенно подпускал в него много всего такого, нужного. Райский лужок из того сна украшали всё новые и новые детали: «плачущих ангелов» сменяли «рук воздеяния», «поруганные святыни с угасшими лампадами» чередовались здесь с «воздаяньями усопшим». К месту пристроились «коленопреклоненные молитвы о пастве своей». Яркой линией через всё полотно тянулось здесь главное: «Однажды мне приснился один сон», и лились бесконечные «слезы умиления».

Когда под окном заорал вчерашний петух, отец Георгий озглавил произведение «Батюшка и овечки» и поставил под рассказом точку...

Супруге отца Георгия духовный рассказ понравился безоговорочно, как только она проснулась. Потом духовный рассказ настиг поднявшуюся дочь и скоропостижно понравился ей. Потом белые овечки вероломно подкараулили старенькую Архиповну, которая гнала в тумане свою корову мимо дома священника. Потом, когда мимо батюшкиного крыльца проходила учительница Анна Ивановна, рассказ озадачил её. И она посоветовала отцу Георгию разместить «Батюшку и овечек» кое-где в сети, даже сама помогла это сделать, и показала отцу Георгию, где смотреть читательские комментарии и как отвечать...

Солнышко выпило утренний туман и сияло над счастливым селом. У соседей визжал поросёнок. Отец Георгий сидел перед компьютером, ждал отзывов и волновался. Наконец дзынькнуло, и на экране высветилось: «Елена прокомментировала вашу заметку». Батюшка затрепетал, навёл курсор и прочёл: «Спаси Господи за такой тёплый рассказ». Священник улыбнулся и ответил: «Во славу Божию». Снова дзынькнуло: «Мария проком-

ментировала вашу заметку». Батюшка волнуясь схватил мышь и увидел: «Спаси Господи, отец Георгий». Вскоре компьютер батюшку ещё раз поблагодарил. А потом ещё. Потом благодарили какие-то Валентины, сразу три штуки, потом некая добрая Анна. Неизвестная Вера тоже благодарила, правда указала и на ошибки, но это не суть, дело житейское.

Похоже, отцу Георгию удалось передать своё высокое настроение от того дивного сна. Волнение сменилось тихой радостью. Пастырь, овечки, духовная идиллия! Потрудились пастух, привёл своё стадо на Святые пажити. Сподобил Бог, по молитвам. Автор потянулся на стуле, почувствовал, как зудят за спиной крылья, просят полёта, и снова услышал «дзынь». Компьютер сообщал, что «его заметку» прокомментировал некий Недовзоров. Пастырь открыл комментарий и остолбенел: «Попья дурья башка! Молится он, видите ли! Поди уже старый, а все не допёр – в этой жизни всё, ну абсолютно всё, зависит только от человека. От человека, а не от бога. Хоть ты башку об пол разбей, а гвоздь сам не вколотится, и картошка сама не посадится».

Сюрприз...

Крылья повисли. Оторопелый автор «Батюшки и овечек» перечитал комментарий несколько раз. Тут бы парировать, а указательный палец никак не отыщет нужную букву. И то правда: ну как на это ответить?

Отец Георгий из села Горянина и без Недовзорова знает, что гвозди сами не вколачиваются – над прудом розовеет храм, который настоятель собственноручно обивал дранкой под штукатурку. И про картошку настоятелю известно, что она не ангелами сажается, деревня как-никак. Да и что это за откровения? Зато новость, что «в жизни всё зависит только от человека», батюшку озадачила. «Это что же, захотел сам себе народиться и народился? Так по его выходит?»

Настроение испорчено.

Настоятель вышел на двор. Взял колун, поводит над берёзовым чурбаком, замахнулся и... опустил. Взял было грабарку, сунулся чистить поросячий закут, а там – хрю! Почудилось, будто из-за загородки опять оно: «Попья дурья башка! Хрю!» И харя ещё свинячья.

– Что, тоже поди думаешь, что в жизни всё от твоего хрюка зависит? Не дам вот тебе жрать, как тогда захрюкаешь, а?

Побродил батюшка по двору, поглядел в огород, где картошка, которая «сама не посадится», пожирает колорадский жук, да и пошёл себе в дом.

К ночи расплясалась гроза. То где-то за лесом притопнет, то за фермой. Сна нет. Отец Георгий ворочается, всё думает, думает: «Ну вот тебе, скажем, молния. От кого зависит, куда она сейчас долбанёт? Ох, ты, горюшко...»

...Стихия улеглась только за полночь. Где-то по-над речкой защёлкал шальной запоздалый соловей. «От кого он зависит, а?»

Священник всё пытался постичь, как нужно ответить Недовзору, чтоб его просветить, но ничего не придумал и только лишь разозлился на себя.

Перед рассветом бессонница сказала: отец Георгий сел выпить чаю, притулился к печке и задремал. И снова пригрезился райский лужок! Только теперь лужок далеко, там, за речкой. И там, в луговых ароматах блаженствует – сама кудряшка – бабка Маруся. Там и Танька Лукичева: вон крестик сияет серебром. И зоотехник тоже там, со праведными. И все-то там! И лишь отец Георгий отчего-то не с ними. И как туда перебраться совсем ему невдомёк: ни моста тебе, ни лодки. Стоит его преподобие, за спиной лес, кручинится, тянет к овечкам руки... А тут его кэ-эк толканёт пониже спины: «Бе-э!» Обернулся батюшка, а это баран. «Но как же, барашкам ведь там, на лугу полагается!» Да и сам отец Георгий хочет туда, за реку, где свет и радость. А этот всё носится кругами: «Бе-э!» От отчаяния батюшка во сне даже расплакался. «Да как же!» И вдруг будто архиерейский голос с того берега:

– Эй, преподобие, чего стоишь?! Хватай барана и дуй сюда! Гляди, сколько тут у нас места, на всех!

У батюшки даже коленки затряслись:

– Да как же нам! Тут и самому через речку никак, а этот ещё носится, бодается. Бе-э ему, видите ли.

– А ты кто тут на земле?! Пастух или размазня?! Зачем Бог тебе стадо доверил, а? Хворостину у воды срежь и гони его сюда вплавь, покуда волки не зажрали! Овечки ждут, им пастуха надо, а ты всё с одним этим малохольным хороводишься! Тоже мне, понимаешь! Шевелись!

Пастырь обернулся, а из леса, и правда, волки, барашка учуяли, идут, с клыков капает. А этот всё носится, не понимает. Блеет ещё, глупый, и так уж его услышали. Ох, беда прямо. Спасать надо...

Тут пастуха опять боднуло, он и проснулся.

Огляделся. Из рукомойника капает, кошка зевает, язык высунула. Под окном квохчут куры. В тумане старенькая Архиповна гонит корову, позвякивает ботало. Отцу Георгию – известному

жизнелюбу – жаль своего пресветлого лужка. И себя жаль, и ба-рана, и овечек, что остались там без присмотра. Он поморщил-ся, потёр у сердца... Потянулся напиться, а руки дрожат, вода из кружки проливается. «Во сне и то с ним не сообразишься. А наяву как быть? Тут и вовсе...»

Поднялся полить герань – полкружки пролил. Ох...

Киса, трётся о ноги, глаза голодные: «Мя-а!» Батюшка по-ложил ей в миску творожку, а она опять тарачится, и – «Мя-а».

– Глупая, ступай, вон у тебя в миске лежит!

А она в глаза смотрит и всё только «мя» да «мя».

– Ты этак с голоду помрёшь при свежих харчах? Иди, гово-рю! Вон, там!

Не понимает Киса, смотрит голодно. Отец Георгий разо-злился:

– Тебя, что, носом надо? Чтоб тебе же хорошо, да? – взял за шкуру и мордой – в творог. Тут кошка и давай наворачи-вать. Батюшка пробормотал: – Коли жалеешь Божью тварь, так и носом иногда приходится. Во, как... А этого, от которого «всё в жизни зависит» не жалко, что ли? Тоже ведь тварь Божья, ка-кая-никакая... Отмахнись от него, так ведь он и пропадёт. Ох...

Отец Георгий вздохнул и побрёл к компьютеру свой послед-ний сон описывать. «Надо, чтоб из этого сна настоящая про-поведь получилась. Чтоб Недовзоров прочёл и уверовал, чтоб проникся, чтоб прямо носом – во благое».

Сперва проповеднический опус не давался, буквы терялись, слов не было. Но потом из-за печки высунулась давешняя Муза, подстроила свою дребезжащую лиру, принялась помогать, и нужные слова сами посыпались: тут тебе и «струны души ока-янной» зазвенели, и «покаянья солёный вкус» возник, и «сле-зы сокрушения» пролились, и «преддверие могилы» зазияло. И даже тебе «окстись».

Вечером эпическое литературное полотно «Батюшка и ба-ран» уже собирало в сети свои комментарии.

ВЕТЕР С ВОСТОКА

Ясным майским утром заводской курьер Саша Митрофанов получил задание быстро смотаться к смежникам под Челябинск, забрать там пачку нужнейших бумаг и в целости доставить. Три часа электричкой туда, три – обратно. Задание – не задание, а так, прогулка...

И вот уже за вагонным окном раскинулось и мелькает цветущее уральское предгорье, поезд весело бежит, мягко покачивает дремлющих дачников и баюкает Сашу.

Когда до конечной оставалось всего несколько станций, в вагоне нарисовались пёстрые цыганские юбки: «Помогите, люди добрые-е, украли документы-ы, сами мы не местные-е... Голодаем.» Рыбак, дремавший всю дорогу, схватился за свои удочки, подмигнул Митрофанову, мол, погляди-ка на голодающих. Саша поглядел: из-под ярких шерстяных платков болтаются золотые серьги, золотые фиксы не помещаются в пухлый рот, пухлые ручки протянуты за подаянием. Пассажир с граблями хохотнул, студенты отвлеклись от подкидного. Сердобольная старушка достала из корзинки и протянула нуждающимся пирожок – вагон сразу затрясло от хохота. Митрофанов тоже прыснул в кулак и отвернулся от этой комичной сценки к окошку, где уносились назад двускатные крыши придорожной деревни, плыла в солнце черёмуха, весенняя истома бликовала в полноводных канавах вдоль насыпи, а по холмам зеленела юная трава. Побирушки похлопали Митрофанова по кепке, потолкали. Он повёл плечом, отмахнулся, не хотелось оборачиваться. Да они и не настаивали: получили с пассажиров своё и убрались.

– Альпийское нищенство, – пошутил Митрофанову рыбак, – святое дело.

– Ага, – усмехнулся курьер.

...Завод, которым управляла Сашина жена, сносился через курьера Митрофанова со смежниками по всему свету. Саша по заданию и в Африку летал, и не только в Африку. И хотя в последнее время от поездок не было продыху, должность свою романтик Саша обожал. Даже эта однодневная командировочка – что бесплатная экскурсия: вот вдоль магистрали спешит холодная каменистая река, по зыбкому подвесному мостику бабка тянет за рога упрямую козу. Бегущая назад деревенька повисла улицей над обрывом, на завалинке пригрелся лубочный дед с самокруткой. Всего в двух часах езды от большого города перстрит за окнами такая добрая сказка...

От созерцания Сашу оторвал пожилой контролёр. Митрофанов собрался было предъявить свой билет, но сколько ни рылся в карманах, ничего не нашёл. Контролёр оживился, предложил Саше заплатить штраф. Курьер охлопал себя, но к удивлению, бумажника тоже не обнаружил. Электричка затормозила у безлюдной платформы. Саша перетряс свой дипломат, вывернул всё, но ни билета, ни бумажника словно и не бывало. Поезд гро-

мыхнул сцепкой, тронулся – за окошком проплыли назад две цветастые юбки.

– Их работа, – ткнул в стекло рыбак, – альпийское нищество.

– Их, – вздохнул Саша Митрофанов.

Опечаленный контролёр развёл руками – на следующей станции Саше приказано было сойти. Спорить и оправдываться не хотелось, и делать было нечего.

На следующем полустанке, где нет ничего, даже перрона, Саша соскочил с поезда. Невдалеке шумела на перекатах всё та же быстрая река, всюду играло солнце. Там, где волны веками точили крутую скалу, кипело серебро. Мобильник не находил сети и растерянно попискивал. Саша сел на пень, снял кроссовок и достал из-под стельки записку. Он всегда припрятывал в дорогу пятьсот рублей, зная, что когда-нибудь это пригодится. Вот и пригодилось. Просто там, в вагоне, при посторонних, курьер рассекретиться постеснялся. Теперь оставалось лишь дожидаться вечерней электрички и продолжить командировку.

Саша посидел, огляделся, освоился: гремучая вода огибает высоченную отвесную скалу и убегает от железной магистрали. По-над речкой тянется подсохший глинистый просёлок. Пахнет хвоей, пахнет прогретой землёй, пробудившейся жизнью. Воздух нестерпимо прозрачен...

До вечернего поезда ещё ждать и ждать, и Саша тихонько побрёл вдоль реки. Из зелени маленькими солнышками глядят одуванчики, мать-и-мачеха начинает лопушиться, грандиозное светило припекает макушку. На камне пригрелась ящерица, заторможенная с зимнего сна. Саша потрогал её хворостинкой, оглядел со всех боков. Затем обогнул холм и увидел однуличную деревеньку, где царицей сидела над гремучей водой крайняя изба. От избы к мостку, с которого, наверное, удобно полоскать бельё, сбегала стёжка. Саша сел на краю мостика, разулся и опустил ногу в обжигающий речной хрусталь. Нога тут же покраснела. Саша обулся, уселся по-турецки и всеми своими городскими лёгкими втянул томящий вольный дух. Голова куда-то поплыла... Поплыла...

– Эй! Башка сейчас палкой мана! – Митрофанов вздрогнул, обернулся и увидел позади старушку в татарском платке, – Тебе мой насос воровать надо? – старушка потрясла над головой своим оружием. Саша растерялся, заморгал, и увидел, что к краю мостка проволокой примотан насос, от которого к высокой

избе протянут шланг, чего он сразу не заметил. А старушка всё грозила:

– Уже три насос украла! Хазыр убью мана!

Саша пожал плечами, объяснил боевой хозяйке, что он вовсе не жулик, рассказал, что сам пострадал от воря и вот выжидает время до вечерней электрички. Бабушка подобрела, опустила свою убивалку:

– Ай, молодес. Меня Амина зовут, Амина-апа.

Саша приободрился, тоже представился. Бабушка дружелюбно улыбнулась:

– Сразу совсем воруют. Три насос уже. Аллах не боится, – пожаловалась старенькая Амина. – Это, как станция идёт, надо сильно окошко смотреть. Не смотрел окошко – всё, унесла. Уф, Алла, – вздохнула старушка.

Саша оглядел собеседницу: на все пуговицы застёгнут застиранный зеленоватый халат, шерстяной носок торчит из треснувшей галоши, седая прядь выпала из-под платка. Амина опёрлась на своё смертоносное оружие и переродилась из бойца в усталую поселянку с распухшими от жизни суставами пальцев. Апа по-детски прищурилась на свет, и Саша сразу к ней расположился:

– Ты что же, одна здесь кукуешь, бабуль?

– Одна. Дети уехала, муж леспромхоз задавило, давно. Мана живу щуть-щуть, – бабушка повернулась и пошла в гору к своей высокой избе. – Айда, чай пить тебе будет.

Саша обрадовался и поплёлся следом, чайку, и правда, хорошо бы...

От сгнившей калитки, через весь перемешанный скотиной двор к избе Амины ведёт всохшая в грязь доска. Вдоль изгороди пригrelись несколько ульев, в которых кипит жизнь. Посреди двора гудит вся в золотых пчёлах белоснежная черёмуха. Из расхристанного сарая глядит на гостя растопыренный гусиный клюв. С ароматом черёмухи мешается застарелый навозный дух.

Курьер Саша и думать забыл о своём железнодорожном происшествии, о командировке и обо всём прочем, что ещё утром его заботило. «Провались Африка! Вот где жить бы!», – подумалось ему, – «Косить бы корове, качать мёд, коптить гусей под Рождество...» Куда-то за реку, где зеленеет уральское предгорье, смотрит крохотным окошком кривая баня...

Хозяйка заскрипела дощатой дверью, пригласила в дом. Посреди татарского жилища громоздится огромная русская

печь. Очарованный гость обошёл её кругом, приложил ладони, и остатки тепла от вчерашней топки проникли прямо в душу. На старой электроплитке сидит-посвистывает пузатый чайник, полусонно идут-бредут спотыкаются ходики, из часового оконца высунулась и навеки уснула кукушка. К бревенчатой стене приулился хромоногий комод, в углу жмётся железная кровать, на которой свернулась в полоске света трёхшерстная кошка. Вот и всё убранство.

Бабушка Амина выставила на стол мёд, хлеб и молоко, разлила по пиалам заварку. Пробормотала своё «Бисмилля», указала гостю на вытертое кресло, которое одно здесь мешало лутошной гармонии.

Наверное, ни разу за свои сорок лет Саша не пивал такого вкусного чая! Мёд таял, растекался по языку, нёбо обволакивало жирное молоко, отдающее коровой. А под окном бесшумно неслась куда-то река, и лилось с неба майское солнце.

Хозяйка много говорила на своём забавном языке без падежей и наклонов. Саша что-то понимал, но не совсем. Понимал про сына Амины, который пьёт где-то там, в городе, про старую подругу, которая привозит Амине новости из соседнего аула, где мечеть. Про овец, «который постригать кирек» надо, а руки уже не те. Саша сидя задрёмывал, ронял голову и пробуждался, и снова слышал забавную баюкающую речь. Он оглядывал русскую печь. Наверное, на ней, когда-то давно-давно рос сын старой татарки, грелся здесь под овчиной суровыми зимами. Когда-то, наверное, болел, а потом умирал здесь задавленный леспромхозом хозяин дома. Вот, уже часы проббили четыре, а Саша всё сидит, млеет. Вот, хозяйка развернула свой коврик и стала за печкой на намаз, а Саша всё не может очнуться, вот уже и третий чайник засвистел на плите.

– Ай, сине иди вода кадушка натаскай, – и Саша радостно хватает вёдра и бегают вверх-вниз между мостком и баней, натаскивает воду, потому что оказалось «насос провод воровали». А потом снова садится за чай...

Митрофанову всё здесь нравится...

А день тем временем угасает. Наверное, где-то там, в городе народ уже давится в маршрутках, едет с работы. Выстукивают повсюду тысячи динамиков, заколачивают в городские мозги всякую плесень. Ещё немного, и небо там загорится пыльным неоновым светом, засветятся телевизорами тысячи окон, и по улицам закраснеют ночные тормоза миллионов вонючих машин. Как обычно встанет где-нибудь в пробке жена Митрофанова – Ленка

и простоит до полуночи. А здесь так же будут спотыкаться ходики, и будет тихо молиться своему Аллаху старая татарка. Солнце медленно катится за пологий холм на том берегу...

Когда пробило шесть, Саша спохватился, что вечернюю электричку проворонил. Он было взялся за дипломат, но подумал, что, если даже дунет на станцию вприпрыжку, к поезду ему никак не поспеть.

Саша умиротворённо вздохнул – всё к лучшему: задание можно на денёк и отложить, мир не рухнет, а дома всё равно к его отлучкам давно привыкли, не расстроятся. Ничего...

– Амина-апа, я у тебя заночую?

Бабушка прибирала со стола, возила тряпицей, смахивала за гостем крошки:

– Кому заночую? Юк, совсем нельзя ведь.

– Что сразу юк-то? В сарае, на сеновале бы, а? – Саша, вспомнил как в детстве, когда вся предстоящая жизнь казалась ещё бесконечным праздником, он ночевал в деревне у деда, зарывшись в душистое сено, – На сеновале бы, а?

Бабушка опёрлась о стол:

– Нельзя сарайка. Если бы мусульман, тогда ночуй. А так гайбат будет. Мана подруг придёт, сплетня говорит, грех.

– Грех что ли на ночлег пустить? – не понял Саша.

– Ай, совсем ты мене покоя не дадут! Становись мусульман, приходи сеновал, заночуй.

Такой расклад курьера Сашу огорошил. Саша растерялся, задумался, в замешательстве поглядел на свой глухонемой мобильник и как себе помочь не представлял. Электричка только утром, знакомых, кроме этой вот хлебосольной бабушки в округе нет, стучаться к кому-то в сумерках – можно и по шее схлопотать, такое нынче время. День полный приключений, завершался ещё одним сюрпризом.

– Куда же я сейчас пойду? – уставился на хозяйку Митрофанов.

– Ай, подожди, – улыбнулась апа, – садись.

– Ну вот, – обрадовался Саша и сел.

– Гляди, – ласково заговорила Амина, – сине мёд кушала, молоко кушала, хлеб кушала, – бабушка загибала пальцы, – чай мана пила...

– Да, – благожелательно ответил Митрофанов, – спасибо.

– Ай, молодес! – старушка радостно затопталась на месте, под ногами запели половицы, старенькие глаза засветились надеждой.

– Тебе что ли заплатить надо? – не понял гость.

– Заплатить, да! – расцвела хозяйка, – деньги совсем у меня ведь нету. Кончалось ведь.

Саша оторопел, молча вынул свёрнутую фиолетовую бумажку, положил на стол, разгладил. Он подумал было что-то сказать, но махнул рукой и вышел.

А над миром уже закатилось солнце, небо позеленело. В сумерках от холодной реки по окрестностям тяжело поднимался могучий озноб. Саша двинул было в сторону станции, но вспомнил, что там нет ничего, не приютиться, и встал. Он сокрушённо осматривался, пока не увидел высоко на холме чернеющий стожок, пошёл в гору, но скоро утомился и присел. Рёв реки сюда почти не долетал, снизу из деревни еле-еле поднимался собачий лай. А холодало-то не на шутку! Саша резко выдохнул – изо рта вырвалось облако пара. Медленно-медленно выполз из-за гор месяц. Он зацепился за макушку скалы и превратил скалу в своеобразный минарет мечети с сияющим навершием. В продрогшем воздухе слышалось, как вдалеке по железной магистрали гремят по стыкам, проносятся поезда.

Саша поёжился и продолжил подыматься в гору. Когда он наконец достиг стожка и отдышался, то просто обомлел: отсюда с высоты, в свете месяца просматривался великолепный мрачный горный хребет, а внизу блестели рельсы и уносился вдаль скорый, весь в огнях. В кармане тюлюлюкнул мобильник, нашёл сеть. Митрофанов выхватил его, отыскал Ленкин номер. Связь без конца затыкалась, но Саша упрямо тараторил в трубку про свою командировку, про цыган, про контролёра, про реку. Про Амину повторил два раза, про русскую печь помянул, про деньги не забыл.

– Здесь очень холодно, приедь за мной, – подытожил Саша.

– Нажрался? – сквозь помехи ответил телефон, – иди к своей Амине, пусть Амина тебя греет! – и отключился.

Ну что тут поделаешь... Беда...

Саша разрыл прошлогоднее волглое сено, попытался забраться в стог. А там оказалось, в глуби ещё крепко сидит зимний холод и Саша вылез. Он стучал зубами и жалел, что не курит – зажигалка здесь ох как пригодилась бы, сейчас бы костерок... И тут ему почуялось, что откуда-то вправду потянуло дровяным дымком. А это просто внизу, в деревне, топилась огромная добрая русская печь, которая веками всё грела и грела старые мусульманские косточки, не видя в этом никакого себе греха...

...Прилетел восточный ветер, пробрал до рёбер, принёс облака. Саша натеребил сена, как мог укутался и как будто согрелся. Узкий полумесяц оторвался от своего минарета, всплыл и теперь проглядывал из-за тучек. Чтоб не стучали зубы, Саша расслабляет мышцы, забывается, и ему временами мерещится, что там наверху вовсе не месяц, а золотая турецкая сабля. Вон же она, вон! – в руке Великого всадника, который бережёт свою верную Амину от лиха, стережёт её от греха. Всадник кому-то поёт, что нет на небе больше никого, есть только он, и есть в его руке победная гнутая сабля. Во всяком случае, так ему кажется...

Саша достал телефон, посмотрел на время: ночь только начиналась. Утешало лишь то, что оставался заряд – батарейки вполне хватало, чтобы с началом рабочего дня позвонить смежникам, всё объяснить и попросить, чтобы они его – курьера – отсюда забрали. Саша давно их знает. Они всё поймут, они вникнут, они заберут. Тут им и ехать-то всего несколько станций...

*с. Орлово,
Воронежская обл.*